

ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

(XIV — СЕРЕДИНА XV ВЕКА)

Главное историческое событие в жизни Руси второй половины XIV века и первой XV — победа на Куликовом поле.

В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, собрав многочисленное войско почти всех русских княжеств, преградил путь на Русь золотоордынской армии Мамаю. Куликовская победа имела огромное национальное значение. Именно Москва организовала сопротивление Золотой Орде. Дмитрий Донской, защищая не одно только свое Московское княжество, но всю Русь, выступил вперед и встретил золотоордынское войско в «диком поле». Именно здесь, у Непрядвы и Дона, решался вопрос о том, вокруг какого княжества объединяться русскому народу. Ни изменившая Рязань, ни медливший с посылкой своих войск Новгород, ни какой-либо другой центр не получили в глазах всего населения такого общерусского авторитета, как Москва.

Куликовская победа «за Доном» подняла политический престиж Москвы, сделав ее подлинной главой русских княжеств. Эта битва подняла русское национальное самосознание и сама явилась результатом не только экономического и военного роста Руси, но и роста духовного и культурного. Литературный подъем предшествовал Куликовской победе и продолжался после.

Несмотря на то что через два года после Куликовской битвы хан Тохтамыш «изгоном» захватил и разорил Москву, а уплата ордынского «выхода» длилась еще целое столетие, рост национального самосознания не замедлялся.

Что же предшествовало в русской культуре главному историческому событию эпохи — Куликовской битве?

Прежде всего отметим начавшееся еще с середины XIV века восстановление культурных связей с Балканскими странами — с Византией, Болгарией и Сербией в первую очередь. Культурная изоляция Руси, существовавшая более века после нашествия Батыя в результате чужеземного ига, закончила на время свое существование. Русская культура включилась снова в культурное развитие Европы. Страна стала выходить из оцепенения чужеземного ига, когда, по выражению летописца, и «хлеб не шел в рот от страха». Явление письменности и искусства об этом свидетельствуют с достаточной убедительностью.

Крупными центрами умственного общения сделались монастыри Афона, Константинополя, Сербии и Болгарии по преимуществу.

Возникло единое умственное направление, единое развитие, не отменявшее, конечно, национальных особенностей, а, напротив, способствовавшее развитию отдельных национальных культур.

Во второй половине XIV и в начале XV века на Русь переносится огромное количество различных новых переводов, сделанных на славянский литературный язык в Болгарии, Сербии, монастырях Греции, Иерусалима, Синае. Здесь и сочинения отцов церкви в новых переводах, сочинения богословские, церковно-канонические, церковно-служебные и, что для нас самое главное, — произведения литературные. Оригинальные южнославянские произведения (главным образом жития) составляют сравнительно небольшую часть появившихся на Руси памятников письменности. Среди перенесенных к нам из Византии через южнославянское посредство произведений отметим новые переводы или новые редакции старых переводов Четвероевангелия, Апостола, Псалтыри, «Служебных миней», гимнографической литературы, «Песни песней», «Слов» Григория Богослова, «Лествицы» Иоанна Лествичника, «Пандектов» Никона Черногорца, «Вопросов-ответов» Псевдо-Афанасия, «Жития Антония Великого», «Жития Варлаама и Иоасафа», Синайского патерика, «Слова» Мефодия Патарского и других, а также переводы ранее неизвестных в славянской традиции сочинений отцов церкви и византийских мистиков: Василия Великого, Исаака Сирина, Григория Синаита, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т. д. Особое значение имело появление в XIV веке переводов Дионисия Псевдоареопагита — философа и богослова, в сочинениях которого ясно ощущаются элементы античной традиции.

Приблизительно в это время или чуть раньше на Руси появляется «Повесть об Индийском царстве», «Сказание о двенадцати снах Шахаиши», «Хождение Зосимы в блаженную страну рахманов», «Слово о Макарии Римском». Особенно же много делается на самой Руси новых переводов исторических сочинений и редактируются старые. Перерабатывается «Еллинский и Римский летописец» («еллинским» он назван потому, что охватывал языческие времена античности, а «римским» — так как охватывал византийскую историю, считавшуюся историей Римской империи), создаются Иудейский хронограф и Толковая Палая. Переносятся на Русь и славянские переводы болгарских и сербских святых.

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими переводами с греческого делаются переводы и на Руси, а также в Константинополе, на Афоне и в болгарских монастырях, где тоже жили русские. Переводами с греческого занимался сам московский митрополит Алексей и многие русские церковные деятели. Преемник Алексея на русской митрополичьей кафедре болгарин Киприан списывал в константинопольском Студийском монастыре «Лествицу» Иоанна Лествичника, а затем в Голенищеве под Москвой «многие святые книги со греческаго языка на руський язык преложи и довольно списания к пользе нам остави».

Этот далеко не полный перечень переводческой деятельности и проявлений интереса к переводной литературе, свидетельствующих о большом умственном подъеме в XIV—XV веках, должен быть сопоставлен с одновременными фактами южнославянского и особенно непосредственного византийского влияния в русском искусстве, появлением на Руси византийских и сербских мастеров. Связи с Балканскими странами отнюдь не ограничивались письменностью.

Чрезвычайно существен и факт обратного, русского влияния в южнославянских странах. Это влияние отмечено для письменности многими исследованиями.

В чем сущность того единого умственного движения, которым был охвачен восток и юго-восток Европы и которое не знало отчетливых границ между восточнославянскими и южнославянскими народами? В этом умственном движении могут быть отмечены некоторые черты, которые типичны для этого периода и в Западной Европе.

Главная черта этого периода — рост личностного начала.

В отличие от Западной Европы, где этот процесс был связан с общим обмирщением культуры и ослаблением церковности, на востоке и юго-востоке Европы рост личностного начала совершался внутри самой церковной культуры. Церковь здесь продолжала иметь огромное значение — особенно в борьбе с иноверными завоевателями. Борьба с чужеземным игом и нашествиями захватывала народные силы, но общение между странами, восстанавливавшееся во второй половине XIV и первой половине XV века, открывало доступ новым идеям.

Внутренняя жизнь человека — вот что интересует теперь в первую очередь и писателей, и художников и что входит в церковную жизнь. Уединенная молитва, молитвенное самоуглубление, отшельничество, уход от людей в далекие скиты становятся необходимыми элементами монашеского подвига.

Рост личностного начала в культуре имел огромное значение на Руси. В эпоху борьбы с игом выступали вперед личные свойства человека: его преданность князю, его стойкость, неподкупность, независимость, мужество и т. д. и т. п. Поэтому на личные качества человека и обращалось в литературе и изобразительном искусстве гораздо большее внимание, чем раньше.

С развитием личностного начала в определенной мере связано появление в XIV веке, сперва на Балканах, а вскоре и в России, нового литературного стиля — экспрессивного, эмоционального, а вместе с тем и «ученого», усложненного и часто торжественного. Так, на середину XIV века падает на Балканах короткий расцвет Тырновской литературной школы. Расцвет этот наступил в 1371 году, когда главный деятель этой школы Евфимий стал патриархом в Тырнове, и продолжался до захвата Тырнова турками в 1393 году.

Тырновское литературное направление было направлением, развивавшим в литературе торжественный стиль, с помощью которого можно было бы прославить болгарских деятелей. Стиль этот способствовал развитию литературного языка, обогащению его лексики за счет искусственных словообразований. В Тырнове развивалась особая «филологическая» ученость, было реформировано правописание и изменялись даже почерки рукописей. То же самое мы видим и в Сербии, где в Ресавском монастыре производится реформа орфографии и письма.

Реформы языка, усложнение стиля, появление новой орфографии имели своей целью создать единую для всех славян письменность, сблизить эту письменность с письменностью Византии, объединить литературу всех южных и восточных

славян. Действительно, по свидетельству деятеля болгарской литературы этого времени Григория Цамблака, в Тырнове учились и работали «не токмо же болгарских родов множество, но и северная все до океана и западная до Илирика».

Возникший в XIV веке в Болгарии, в Тырнове, панегирический стиль создал чрезвычайно искусную орнаментальную прозу.

Новый сложный стиль, стиль «плетения словес», ответил на Руси потребностям начавшегося перед Куликовской победой подъема национального самосознания. Его торжественность позволяла восхвалять церковных и светских деятелей русской истории. Само название этого стиля — «плетение словес» — следует понимать как плетение словесных венков — венков победных и мученических, — венков славы.

Особенное значение этот новый стиль «плетения словес» имел в Москве.

Это объясняется особой идейной атмосферой, установившейся в Москве уже в середине XIV века и сохранявшейся значительно позже.

В исходе XIV века Москва постепенно становится крупнейшим средоточием литературных сил, еще раньше, чем она стала средоточием русской государственности. Конец XIV и первая половина XV века — время идеологической подготовки создания единого Русского государства. При этом подъем всех духовных сил русского общества идет под знаком возрождения традиций времени национальной независимости — Владимирской и Киевской Руси XI—XIII веков.

Дмитрий Донской первым стал на ту точку зрения, что только Москва является наследницей Владимирского княжества. В Москве возрождаются строительные формы Владимира, традиции владимирской письменности и летописания. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. Из Владимира же перекочевывают в Москву и те политические идеи, которыми руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной и значительной, придав уже в XIV веке политике московских князей необычайную дальновидность, поставив ей цели, осуществить которые Москве удалось после ряда столетий чрезвычайных усилий только во второй половине XVII века. Идеей этой была идея собирания всего киевского государственного наследства.

Московские князья, настойчиво добивавшиеся ярлыка на

великое княжение, так же как и тверские, владимирские, видели в себе потомков Мономаха. В их городе с начала XIV века обосновался митрополит «Киевский и всея Руси», и они считали себя законными наследниками киевских князей: их земель, их общерусской власти.

Постепенно, по мере того как нарастает руководящая роль Москвы, эта идея киевского наследства крепнет и занимает все большее место в политических домогательствах московских князей, соединяясь с идеей владимирского наследства в единую идею возрождения традиций государственности независимой и могущественной домонгольской Руси. Московские князья претендуют на все наследие Владимира I Святославича и Владимира Мономаха, на все наследие князей Рюрикова дома. Борьба за киевское наследие была борьбой с Ордой, поскольку киевское наследие было наследием национальной независимости, национальной свободы. Борьба за киевское наследие была также борьбой за старейшинство московского князя среди всех русских князей; она означала борьбу за единство русского народа, а в будущем — за Смоленск, за Полоцк, за Чернигов, за Киев, она означала также тяжкий труд над образованием единого Русского государства.

Отсюда естественное на первых порах стремление судить обо всем «по старине и по пошлине» — на основе традиций эпохи независимости. В эпоху борьбы с Ордой это стремление к восстановлению старых традиций было явлением прогрессивного порядка. Только в будущем, в XVI и XVII веках, когда Русь была уже полностью независимой, этот первоначально творческий принцип стал препятствием на пути развития русской культуры, явившись как бы знаменем государственного консерватизма XVI—XVII веков.

Стремление к возрождению традиций эпохи независимости Руси характеризует и древнерусскую литературу второй половины XIV—XV века. Мысль обращается к независимому прошлому с желанием увидеть в нем будущее. Русские литературные произведения XI—XIII веков становятся образцами для создания новых. Заимствуются отдельные места, образы и идеи из «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, из житий Бориса и Глеба, из «Повести временных лет», из произведений Кирилла Туровского, из Киево-Печерского патерика, из «Слова о полку Игореве», из «Слова о погибели Русской земли», «Жития Александра Невского», «Повести о разорении Рязани Батыем» и пр. На этой основе создаются новые произведения, посвященные современности или ближайшему, не утратившему своего значения прошлому.

В этих условиях обращение к литературе времен национальной независимости с ее высоким и весьма искусным стилем (особенно в произведениях Илариона XI в., Кирилла Туровского XII в. и др.) совпало с аналогичными тенденциями нового литературного стиля, возникшего на Балканах. Новый стиль проник на Русь вместе с многочисленными памятниками письменности, которые были привезены беженцами с Балкан, но его привезли также и живые носители этого стиля — замечательные писатели — болгары по происхождению: митрополит Киприан и Григорий Цамблак. Значительно позже, в XV веке, его распространял на Руси и профессиональный писатель Пахомий Серб, писавший по заказам тексты служб и жития русским святым в Новгороде и Москве.

Переехав на Русь и став московским митрополитом, болгарин Киприан написал ряд сочинений, из которых значительнейшее — «Житие московского митрополита Петра». Митрополит Петр был первым, который окончательно перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву и здесь даже собственными руками построил себе в новом Успенском соборе гробницу, как бы утверждая этим «вечность» своего пребывания в новом церковном центре Руси. Киприан своим «Житием митрополита Петра» так же точно обосновывал свою связь с Москвой, а некоторыми деталями своего произведения подчеркнул общность своей судьбы с судьбой митрополита Петра. Болгарин Киприан на русской митрополичьей кафедре ощущал себя прежде всего главой русской церкви и москвичом.

Уже имевшееся до него житие Петра Киприан значительно переработал в новом стиле. По этой переработке мы ясно можем себе представить, что именно внес Киприан нового в свое «Житие митрополита Петра». Это новое заключалось прежде всего в том, что он добавил в житие чрезвычайно много личного. Никогда прежде биография святого не становилась в такой мере предметом для размышления о своей собственной судьбе. И это «новшество» очень типично для конца XIV века. Говоря о путешествии Петра в Константинополь для поставления в митрополиты, Киприан подчеркивает схожесть своих собственных затруднений в Константинополе с поставлением в русские митрополиты с теми затруднениями, которые встретил там же Петр и по тому же поводу. Далее Киприан прямо вставляет в «Житие» Петра размышления о своих собственных злключениях, когда его не хотел принимать в Москве Дмитрий Донской и он вынужден был жить некоторое время в Литве.

Связь своей судьбы с судьбой Петра Киприан обращает в нечто реальное, когда пишет о том, что, заболев в Царьграде, он

обратился с молитвой к митрополиту Петру и молитва эта помогла ему: исчезли все тяжкие болезни. В Москве он с особенным усердием обращается к гробу Петра и молится Петру — как своему покровителю.

Эпическая тема — биография святого — разрешена в произведении Киприана как лирическая повесть. Это характерно для нового стиля — стиль этот лиричен в своей основе.

Стиль панегирической прозы XIV—XV веков в его русском варианте отмечен какой-то особой напряженностью поисков эмоциональной выразительности. Он понуждал авторов к усиленной работе, к неустанным поискам наилучшего выражения, свидетельствовал о высокой филологической культуре своего времени, был «неспокойным», и в нем ясно ощущалось стремление выразить особое, лирическое отношение к миру. Форма в нем требовательно подчинялась содержанию, он был связан с определенным мировоззрением, вернее — мироотношением, со стремлением взглянуть на окружающий мир со своей особой, индивидуальной точки зрения. Мы можем назвать этот стиль орнаментальной прозой и видеть в нем одно из проявлений усиления личностного начала в литературе.

Характерная черта нового стиля — появление единого «сверхсмысла», извлечение новых значений из сочетания слов, развитие контекста. Создаются различные эффекты ритма, игры словами — особенно словами, имеющими общий корень, или словами синонимичными, близкими по значению.

Встает вопрос: не является ли это стремление к «контексту» выражением общего стремления эпохи к единству, с которым связан и культ троичности — «единства во множественности»? Гармония согласованных усилий, как и нравственные искания разного рода, становятся в это время основной темой и литературы, и изобразительных искусств. Это знание времени, доминанта всего его изобразительного искусства, как и всей литературы.

Если в монументальном стиле предшествующих периодов основой единства было внешнее его оформление, монолитность и спаянность, отражающаяся в силе и тяжести, то теперь на первый план выступают внутренние явления монолитности. Единство как бы растет изнутри, освящает и одновременно освещает объект неким внутренним светом. Это отчетливо заметно в зыбкой, колеблющейся, «играющей» прозе орнаментального стиля, так же как и в особом «сиянии» красок рублевской «Троицы», в пристрастии к «плави», к различным формам передачи света (особенно в композиции

«Преображения» — одним из излюбленных сюжетов этого времени).

О внутреннем свете очень часто говорят произведения панегирических жанров, и его же пытаются передать художники в своих произведениях. Об этом же говорит и ритмическая устремленность ввышину, которая все больше сказывается в произведениях архитектуры, особенно в XV веке.

Одна из характерных особенностей живописи этого времени — использование различных оттенков одного и того же цвета. Если для предшествующего времени была характерна многокрасочность, то в XV веке появляется использование разных оттенков синего (в «Троице» Рублева), красного (в новгородских иконах).

Не чистый цвет, а оттенки цвета и их сопоставления имеют очень большое значение в живописи XIV—XV веков. Художники второй половины XIV—XV века стремятся к согласованию цвета, к единому ритму, пронизывающему всю композицию. Это мы видим и в произведениях Рублева, и в произведениях Феофана Грека, и во многих других, особенно лучших, созданиях того же времени.

Расцвет русской орнаментной прозы падает на конец XIV—XV века и связан прежде всего с именем замечательного русского писателя Епифания Премудрого. В его произведениях орнаментная проза достигла своего высшего и непревзойденного цветения. Ему принадлежат составленные в этом стиле «Житие Стефана Пермского» и дошедшее до нас в позднейшей переработке — «Житие Сергия Радонежского».

Последнее произведение особенно замечательно своим идейным содержанием.

Основатель ставшего самым знаменитым в Московском княжестве Троице-Сергиевого монастыря Сергий Радонежский всю жизнь прожил в монастыре, не только полунищенской, но и трудовой жизнью.

Сквозь драгоценную узорчатость «плетения словес» с тем большим контрастом выступает перед читателем личная скромность Сергия и его тяжелая жизнь труженика и радателя о Русской земле; ордынские нашествия, насилия московских воевод, жизнь в лесу среди диких зверей, постоянная нехватка пищи.

Сергий властен и силен. Сильный физически («имел силу против двух человек»), он силен и влиянием на народ.

Часто сравнивают Сергия Радонежского с Франциском Ассизским, и это сравнение в какой-то мере оправдано. В обоих есть элементы Предренессанса, — типичного для этого

времени идеала человеческой личности. Однако обращает на себя внимание то, что религиозные «подвиги» Сергия носят в основном крестьянский трудовой характер: он выполняет все крестьянские работы, строит, огородничает, шьет одежду, заготавливает дрова, варит пищу, печет хлебы, носит воду, делает свечи — не стыдится самой черной работы. Вот почему он обладал таким авторитетом среди крестьян. И Дмитрий Донской, нуждавшийся перед выступлением в поход в народной поддержке, едет к нему получить благословение на решительное выступление против Орды.

«Житие Сергия Радонежского» состоит из отдельных рассказов с сюжетной законченностью. Многие из этих рассказов явно восходят к народным легендам о Сергии. Образ Сергия в этих легендах всегда один и тот же: он силен и сдержан, «дерзновенен» к властям и смиренен перед богом, скромен и вместе с тем отличается большим чувством собственного достоинства. В сущности, образ Сергия создан не Епифанием — он заключен уже в народных о нем рассказах. Стиль плетения похвал святому, который так ярко представлен в «Житии Сергия» и который так часто делал неправдоподобными все авторские восторги, здесь у Епифания органически связан с содержанием.

Орнаментальная проза панегирического стиля Епифания не является простой языковой игрой, бессодержательным орнаментом: нагромождение однокоренных слов или слов с ассонансами нужны для усиления экспрессии, нужны по смыслу. Ключевое слово, создающее плетенку, подчеркивает в тексте основное¹.

Вернемся к тем культурным, и в частности литературным, связям, которые были восстановлены начиная с середины XIV века между Русью и Балканским полуостровом.

Реальные связи со странами Балканского полуострова были закреплены в обширной литературе путешествий, интерес к которой особенно проявляли новгородцы, чей великий город стоял на одной из важнейших торговых дорог Европы, хотя временно и прерванной во второй половине XIII века нашествием Батыя, а теперь возобновленной благодаря включению Новгорода в Ганзейский союз.

Новгородцы — неутомимые путешественники, люди книжные и ценители искусств. Таким внимательным к культуре иных стран путешественником оказался Стефан Новгородец, составивший подробное описание Константинополя.

¹ См. подробнее: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 118—126.

«Хождение Стефана Новгородца в Царьград» относится к 1348—1349 годам. Стефан пришел в Константинополь не один, а с «други осемью». Кто были эти «други», мы не знаем, так же как не знаем и цели, с которой приходил Стефан: был ли он торговым человеком или приходил в Царьград по делам новгородской церкви. Стефан описывает в Константинополе не только религиозные ценности, но и архитектуру, предметы искусства. Он обратил внимание на статую Юстиниана (для русского человека, не знавшего у себя на родине скульптурных монументов, эта статуя была особенно удивительна), описывает знаменитые колонны Софийского храма, отмечает статую Христа в «новой» базилике, колонну Константина Великого, перечисляет украшения и художественную утварь храмов. При этом Стефан прежде всего всюду обращает внимание на то, что отсутствовало у него на родине и что было для него самым необычным: помимо скульптуры — колонны, портики, описывает мрамор — его твердость и цвет, подробно рассказывает об огромной гавани Константинополя и о морских судах.

Стефан, как и другие новгородские паломники, отмечает в своем «Хождении» следы разрушений, причиненных Константинополю крестоносцами в 1204 году. И это невольно выдает в нем осведомленного человека, интересующегося памятниками искусства и их историей.

Кроме «Хождения» Стефана Новгородца от XIV века дошли до нас еще два своеобразных «путеводителя» по Константинополю — «Сказание о Царьграде» и «Беседа о святынях Царьграда». Оба эти памятника составлены не очевидцами, а восходят к какому-то не дошедшему до нас третьему описанию Константинополя — может быть, принадлежащему Василию Калике — будущему новгородскому архиепископу Василию, написавшему «Послание к тверскому епископу Федору о земном рае».

И это «Послание» Василия о земном рае характеризует тягу русских людей XIV века к далеким странам и далеким путешествиям. Василий описывает земной рай, который видели его «дети» — новгородцы.

Непосредственной темой «Послания» Василия послужил спор о том, существует ли рай на земле, в котором жили Адам и Ева, или материальный рай погиб и есть только рай «мысленный», то есть идеальный, неземной.

Спор этот, довольно типичный для средневековья, касался одной из основ религиозного мировоззрения той эпохи. Несториане и яковиты, сторонники прямого и непосредственного понимания библейской истории как реально существовав-

шей, верили в материальный рай на земле, доступ в который для людей крайне затруднен, но возможен. В этом споре глава новгородской церкви Василий становится на одну точку зрения с «еретиками».

Василий даже определяет место существования земного рая: «А в Паремии (т. е. в Ветхом завете.— Д. Л.) именуются четыре рѣкы, идутъ из рая: Тигр, Нил, Фисонъ, Ефраксъ — со вѣстока, Нил же — под Египтомъ... течеть же с высокихъ горъ, и еже суть от земля и до небеси, а мѣсто непроходимо есть человекомъ, а верху его рахмане живутъ».

Одна из деталей «Послания» Василия делает его рассказ о новгородцах, нашедших земной рай, типично новгородским по своему вниманию к живописи, которой новгородцы славились далеко за пределами своего города. Горы, стеной отделяющие рай со стороны моря, имеют изображение деисуса: «...написанъ дѣисусъ лазоремъ чуднымъ и велми издивленъ паче мѣры, яко не человекъскыма рукама творенъ, но божиею благодатью». Фантазия новгородцев клонилась, следовательно, к тому, чтобы и горы украсить фресками, написав их драгоценнейшим «лазорем», которого в действительности едва хватало на миниатюры. Тема деисуса тоже не случайна для ограды рая: деисус, или деисис, означает моление, которое возносят богоматерь и другие святые к страшному судии мира Христу с просьбой о прощении грешников,— это тема конца мира, Страшного суда, в результате которого определяется, кто попадет в рай и кто пойдет в ад.

Тема конца мира характерна для времени больших исторических поворотов: читатели хотели судить о настоящем в свете всей человеческой истории — от ее начала и до грядущего конца.

В Москве первое обширное «Хождение» в Царьград относится к 1389 году. Оно было составлено Игнатием Смольянином и описывало русское церковное посольство в Царьград, все перипетии борьбы за место митрополита московского и внутренние события византийской жизни — в частности, борьбу за византийский императорский престол между Иоанном II и Мануилом II. Игнатий присутствовал при восшествии на престол Мануила II и подробно описал церемонию, причем не забыл отметить и мотив бренности существования властителей, так интересовавший русских в XIV и XV веках и отразившийся несколько позже в «Сербской Александрии». После венчания Мануила II первым поздравляют его «мраморницы и гробоздатели», принесшие ему на выбор для его будущей гробницы различные сорта мрамора. Гробовщики напоминают царю, что он смертен и тленен,

что с сильных мира сего больше спросится на том свете, а поэтому царю надо особенно стремиться иметь «страх господень, и смирение, и любовь, и милость».

Из других описаний путешествий отметим «Хождение» Зосимы, побывавшего в Иерусалиме и Константинополе в 1420 годах. Сильнее, чем у многих других путешественников, отразились в «Хождении» Зосимы сочинения его предшественников — в частности, игумена Даниила начала XII века и уже упоминавшееся «Хождение» Стефана Новгородца.

Интерес к Константинополю и другим странам растет параллельно с интересом к всемирной истории. На Русь переносятся переведенные у болгар византийские хроники Иоанна Зонары и Константина Манассии. Последний со своей экспрессивной манерой повествования оказал огромное влияние на русскую историческую литературу XV—XVII веков. В «Хронике» Манассии большое внимание уделялось характеристикам исторических лиц, психологическим мотивировкам их действий, моральным сентенциям и нравоучительности. История предстояла перед читателем как огромная школа житейской мудрости. Все действующие лица резко делятся на положительных и отрицательных, и для оценки их действий автор не скупится на самые резкие или возвышенные эпитеты.

В составе «Хроники» Манассии русский читатель получил и новый вариант рассказа об осаде Трои ахейцами, обычно называемый «Притчей о кралех», многие подробности которой восходят к мифологическим поэмам Овидия, а другие взяты из западной средневековой поэзии и сохраняют дух рыцарской куртуазности.

Особое значение в формировании нового исторического стиля на Руси, помимо «Хроники» Манассии, имели биографии сербских «кралей» — Стефана Немани, написанной его сыновьями Стефаном и Савой, и Стефана Лазаревича, написанной Константином Костенческим, а также «Жития и повести кралей Србския поморския земли», сложенные архиепископом Даниилом. Биографии эти были составлены пышно и имели целью приукрасить и возвысить сербскую династию Неманичей, независимость Сербии, прославить воинские доблести сербских «кралей» и их воинов. Это были панегирики сербским властителям, а в их лице и сербскому народу.

В бою сербские воины «женяаше (прогонял.— Д. Л.) един тысящу, а два двигнета тмы» (десятки тысяч.— Д. Л.). Сам Стефан Лазаревич именуется «громоименитым царем», смот-

реть на него было так же трудно, как на солнце, врагам он грозил как «молнийная стрела» и т. д.

Стиль этих пышных биографий повлиял и на русские биографии великих князей московских и тверских и продолжал влиять в течение всего XV и XVI веков, отразившись в русской «Степенной книге царского родословия» XVI века.

Интерес к всемирной истории был связан со стремлением осмыслить настоящее, найти философское утешение в размышлениях о превратностях судеб царств — даже самых могущественных, обрести надежду на освобождение. Вместе с тем в какой-то мере размышления над превратностями исторических судеб поднимали национальное самосознание, позволяли видеть судьбы Русской земли в перспективе всей мировой истории.

Появление историчности сознания — одна из характернейших и существеннейших черт Предвозрождения. Статичность предшествующего мира сменяется динамичностью нового. В домонгольский период время космическое; оно исчисляется по временам года, сменам дня и ночи; оно все повторяемо; время — круговорот. В XIV и XV веках появляется сознание неповторимости эпох, событий, личности. Историзм органически связан с открытием ценности отдельной человеческой личности и с особым интересом к историческому прошлому.

Мир как история! — понимание это соединено с антропоцентризмом. Представление об исторической изменчивости мира связано с интересом к душевной жизни человека, с представлением о мире как о движении, с динамизмом стиля. Мир понимается и воспринимается во времени, и показательно, что некий «сербин» устанавливает в Москве первые городские часы, а архиепископ Евфимий в Новгороде строит часозвоню.

Ничто не закончено, а поэтому и невыразимо словами; текущее время неуловимо. Его может лишь в известной мере воспроизвести поток речи, динамичный и многоречивый стиль, нагромождение синонимов, обертоны смысла, ассоциативные ряды.

Если раньше история представлялась человеческому сознанию как цепь событий, то теперь она предстает как смена состояний. Состояние зависимости от иноземной власти резко противостоит прежней независимости Руси.

С конца XIV века на основе летописей других княжеств и существования в самой Москве непрерывавшихся традиций ведения исторических записей усиленно развивается московское летописание. Московское летописание стремится охватить

своими записями все русские земли, иначе говоря — стать летописанием общерусским. Используются летописи Твери, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова, Новгорода и других городов. Московские летописцы не только «записывают», но и осмысливают события, стараются извлечь из событий нраво-учительный смысл, ищут в истории уроки нравственные, политические и даже просто военные. В летописание проникают элементы публицистические, что было так типично для летописания XI—XIII веков. Характерно, что киевская «Повесть временных лет» по-прежнему переписывается во главе русских летописей, подчеркивая тем самым «связь времен», общность исторических корней, происхождения русского народа и княжеского рода.

Наиболее значительное произведение московского летописания — это Троицкая летопись, использованная в свое время Н. М. Карамзиным в его «Истории государства Российского» и сгоревшая в пожаре 1812 года, тогда же, когда сгорела и рукопись «Слова о полку Игореве». Текст Троицкой летописи был восстановлен по частям с разной степенью достоверности известным советским историком М. Д. Приселковым¹.

Интерес к недавней истории отразил замечательный цикл произведений, посвященных центральному событию эпохи — Куликовской битве: две летописные повести о Куликовской битве (краткая и пространная), поэтический отклик на сражение «за Доном» — «Задонщина», очень популярное в Древней Руси «Сказание о Мамаевом побоище», а также «Слово о царе и великом князе Дмитрии Ивановиче».

В «Задонщине» имеется в начале текста такое место: «Снидемся, братия и друзи и сынове рускии, составим слово к слову...»². Обычное понимание этого места такое: «...создадим произведение...» Но такого выражения нигде больше в древнерусских текстах не зафиксировано. Написание нового произведения, сочинительство, никогда не представлялось как «соединение слов».

Вместе с тем выражения «приложить слово к слову», «составить слово» встречаются довольно часто (например, в Киево-Печерском патерике), и они означают соединение различных произведений в одно, сочинение произведения («сло-

¹ Приселков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.—Л., 1950.

² Цит. по списку Ундольского, но место это имеется и в других списках.

во» означает произведение, а не только слово — единица речи); «оставить слово» — прекратить рассказ¹.

Следовательно, то место в «Задонщине», где говорится «составим слово к слову», следует переводить так: «сочиним «Слово» к «Слову» — на основе одного «Слова» составим другое». Напомним, что «Задонщина» — это научное название произведения о Куликовской битве, а в самом тексте оно называется «Слово о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате его князе Владимире Андрѣевиче, яко побѣдили супостата своего царя Мамаю».

Оправдывается такое сопоставление старого слова и нового тем, что Дмитрий Донской — потомок Владимира Киевского и киевских князей вообще.

Автор «Задонщины» последовательно сопоставляет события Донской битвы с событиями поражения Игоря Святославича, как они изображены в «Слове о полку Игореве», «ввергая печаль» на войско Мамаю и воздавая славу Дмитрию и Владимиру Андреевичу словами «Слова о полку Игореве».

В «Слове о полку» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск, которым грозит поражение. В «Задонщине» те же зловещие предзнаменования соответствуют походу войск Мамаю.

В «Слове» «дети бесовы», то есть половцы, кликом поля перегородили, в «Задонщине» же русские сыны широкие поля кликом огородили.

В «Слове» «черная земля» посеяна костями русских; в «Задонщине» — татарскими.

В «Слове» кости и кровь русских всходят тугою по Русской земле; в «Задонщине» восстала земля татарская, бедами и тугою покрывшись.

В «Слове» тоска разлилась по Русской земле; в «Задонщине» по Русской земле простерлось веселие и буйство.

В «Слове» «поганные» приходили со всех сторон с победами на землю Русскую; в «Задонщине» же — «уныло царей их (татар.—Д. Л.) веселие и похвальба на Русскую землю».

«Задонщина» была обращением к духовным и художественным богатствам «Слова о полку Игореве». Русская культура середины XIV—первой половины XV века была вся, как мы уже сказали, обращением к духовным богатствам эпохи независимости: в литературе, в политической и в церковной жизни, в эпосе, в архитектуре, в живописи и т. д.

¹ «Сицева же (такая же.—Д. Л.) бысть вещь по смерти блаженнаго отца нашего Феодосия, от преслушания сътворенное. Иже аще и несть zde лепо исповедати ея, но обаче по въспомяновение того приидохом и сему подобно слово к слову приложим» (Абрамович Д. И. Киево-Печерський патерик. У Києв, 1931, с. 59; ср. с. 78 — «оставим слово»).

«Задонщина» явилась своего рода символом этих реставрационных тенденций XIV—XV веков, возникших в связи с Куликовской победой. Она была попыткой изобразить победу Дмитрия Ивановича Донского как отплату за поражение Игоря Святославича — в тех же образах и выражениях.

Одно из самых распространенных в Древней Руси произведений — «Сказание о Мамаевом побоище». Оно известно в нескольких редакциях, по существу представляющих собою самостоятельные литературные произведения — обширные, часто иллюстрировавшиеся, включавшиеся в состав летописей.

«Сказание» создано после летописных повестей (краткой и пространной) о Куликовской победе и после «Задонщины», отрывки из которых оно включало в свой состав. Вместе с тем различные редакции «Сказаний» имели и самостоятельные источники, а одна из редакций, условно называемая «Печатной», испытала на себе и непосредственное влияние «Слова о полку Игореве». Многие отражены в «Сказании» и по устным источникам. Только в «Сказании» мы найдем рассказ о гадании по приметам накануне Куликовской битвы. Только в «Сказании» читается эпизод с переодеванием Дмитрия перед сражением, рассказ о поединке Пересвета и татарского богатыря, рассказы о подвигах отдельных воинов, в числе их и о подвиге некоего Юрки-сапожника.

В целом же в «Сказании» очень отчетливо проведена официальная точка зрения на события, на взаимоотношение светской власти и церковной, на роль Москвы и измену рязанского князя Олега.

«Сказание о Мамаевом побоище» замечательно тем, что в нем искусно сочетаются части, написанные в разных стилях. Есть места, в которых заметно «плетение словес» и панегирическая выпренность; есть части в характере народных плачей; есть, наконец, отдельные куски текста, описывающие фактическую сторону событий в летописном стиле.

Несомненно, что «Сказание» — это очень значительное произведение, сравнительно большое по своим размерам, исполненное сознанием важности совершающегося, как поворотного момента в русской истории.

Монументально-исторический стиль, который был так характерен для предшествующей литературы XI—начала XIV века, не исчез ни во второй половине XIV века, ни в XV веке. Он только приобрел иные формы, утратил единство, растворился в панегирическом стиле, в монументальном повествовании огромных летописных сводов, в разнообразии жанров, в которых на первый план выступали разные стороны монументализма и историзма.

После Куликовской победы золотоордынцы продолжали свои наступления на Русь, но эти наступления носили характер набегов, совершаемых быстро — «изгоном» — и подготовляемых втайне. Эти набеги приносили огромные несчастья Русской земле, и рассказы о них отразились в летописи. Характер этих рассказов был совершенно иным, чем произведения о Куликовской победе. В них мало лирики (разве что плачи по погибшим и сетования на причиненное разорение), но зато они рассудительно анализировали поведение русских военачальников и неприятеля, анализировали всю обстановку и придавали своему анализу публицистическую направленность. Объединять произведения о Куликовской победе и произведения о набегах золотоордынцев в единый жанр «воинских повестей», как это часто делается, невозможно. В последних перед нами живая публицистика. Их пафос в исправлении создавшегося положения, при котором русское население часто оставалось совершенно беззащитным. Но это и не были «повести о княжеских преступлениях», каких было много в XII—XIII веках. Повести о набегах золотоордынцев анализируют всю обстановку, тактику наступающего врага, тактику обороны, поведение различных слоев населения, международное положение Москвы и политику отдельных княжеств. Перед нами сложнейшее литературное явление, в котором ощущается опыт многих поколений, оказавшихся под игом монголо-татар.

В 1382 году татарский хан Тохтамыш внезапно подошел к Москве с большим войском. Дмитрий Донской был застигнут врасплох и не смог собрать крупного войска для защиты Москвы. Обращение за помощью к другим русским князьям не имело успеха. Он отступил от Москвы, оставив горожан самих оборонять город, и стал собирать войско на севере. Татары обманом взяли Кремль, разграбили и пожгли всю Москву.

«Повесть о нашествии Тохтамыша» дошла в двух редакциях с двумя различными тенденциями. В одной из повестей, написанной для летописи митрополита Киприана, главная роль в защите Москвы принадлежит литовскому князю Остегу. И это понятно: митрополит Киприан, осознававший себя главой православной церкви как на Руси, так и в Литве, хотел укорить московского князя и воевод, оставивших свое население на произвол судьбы, примером литовских князей. По другой редакции, составленной несколько позднее, город обороняют сами жители, особенно купцы — «суконники и сурожане», то есть купцы, ведущие далекую торговлю с заморскими странами через крымский город Сурож (Судак). Эта послед-

ная редакция «Повести о нашествии Тохтамыша» наиболее интересна.

«Повесть» начинается с указания на небесные знамения: появление «хвостатой звезды» (кометы), предвозвестившей «злое пришествие Тохтамышево». Описана рознь князей, не пошедших на зов Дмитрия Донского. Защищают город сами горожане, оказавшиеся без князя. Горожане силой удерживали тех, кто хотел бежать из города, который был «аки море в велице бури». Автор на стороне горожан, которые готовились к обороне с молитвою и надеялись на бога, и не разделяет самоуверенности тех, кто, упившись медом, хвастливо заявляли, что не сдадут города, в котором и «стены камены и врата железа». Тем не менее и автор повести признает, что москвичи не сдали бы города, если бы не поверили лживым посулам врагов. Особенно отмечает он подвиг некоего «суконника Адама», который попал стрелою прямо в «сердце гневливое» сына ордынского хана. С чувством гордости описывает автор сильную стрельбу горожан по осаждавшим из пороков, самострелов и пушек.

С горечью осуждает автор вторичную измену рязанского князя Олега, уже ранее предавшего русское войско перед Куликовской битвой и указавшего путь войску Тохтамыша на Москву. С иронией сообщает он о том, что на обратном пути войска Тохтамыша пограбили Рязанскую землю.

Отдельные формулы «Повести о нашествии Тохтамыша» заимствованы из «Повести о разорении Рязани Батыем», особенно те, в которых передается плач по опустошенной Москве, но общее содержание повести, ее своеобразный нравоучительный тон, попытка глубоко разобраться в исторических событиях вводятся в литературу впервые.

Иной характер носит «Повесть о Тамерлане», или, как его называют русские летописи, о Темир-Аксаке — «Железном Хромце». Здесь повествователя интересует по преимуществу личность легендарного завоевателя, покорившего половину тогдашнего мира, но не дошедшего до Москвы в 1395 году и повернувшего назад.

Впереди Тамерлана разносятся вести о его завоеваниях, бесчисленных победах и всесветном могуществе. Жизнь Тамерлана рисуется как своего рода феномен — игралище судьбы. Он стал фантастическим героем из сына бедного раба. Он был мелким вором, «ябедником», «лютым разбойником», его поймали с украденной овцой, нещадно били,

и он, охромев, принужден был сковать себе железную ногу. Железо — символ жестокости, и вся дальнейшая его судьба как бы выросла из этого несчастного случая. «Железный Хромец» собрал вокруг себя таких же разбойников, а затем и бесчисленные войска, завоевал многие страны и отступил от Москвы только благодаря чудесной помощи богоматери. В Москву перед тем была перенесена икона Владимирской Божьей Матери, и именно она, одетая в багряные одежды, в сопровождении святителей явилась Тамерлану во сне и приказала повернуть назад. «Повесть» полна церковного красноречия, и в ней явственно ощущается религиозный характер.

Третья повесть снова нравоучительного и публицистического характера — это «Повесть о нашествии Едигея в 1408 году».

Хан Едигей скрыто вторгся на Русскую землю и подошел к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич, как и Дмитрий Донской при нашествии Тохтамыша, ушел на север. Едигей разорил почти все московские области и, взяв «окуп», ушел назад. Этот внезапный набег опять послужил поводом к обширному нравоучению русским князьям, недостаточно оберегающим русские земли от тайных набегов, и снова в пример безопасности русским ставятся осторожные литовские князья.

По поводу «Повести об Едигее» Н. М. Карамзин писал: «Описанием Едигеева нашествия заключается харатейный Троицкий летописец»¹. Троицкая летопись — это важнейшая московская летопись самого начала XV века, и если она заключалась именно этим произведением, то, следовательно, ему придавалось большое значение: это был как бы вывод из предшествующей московской истории, наставление московским князьям, да и всем москвичам.

По-видимому, «Повесть о нашествии Едигея в 1408 году» была написана несколько раньше составления Троицкой летописи, еще во Владимире, куда в 1408 году удалился митрополичий двор во время нашествия Едигея, а затем использована для заключительной части этого свода. При включении «Повести» в конец летописи она была несколько расширена и обрамлена рассуждениями летописца, повторившими основную мысль «Повести». Эта основная мысль автора «Повести» состоит в том, что исконные враги русской независимости — не Литва, а степные народы. Многочисленные исторические ссылки автора говорят о том, что он

¹ Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1892, т. 1. Примечания, с. 71 (примеч. 207).

был внимательным читателем «Повести временных лет»: «...не сихъ ради преже Киеву и Чернигову бѣды прилучишася, иже имѣюще брань межи собою, поднимаяще половци на помощь, наважаху братъ на брата, да и первое наимуюче ихъ, сребро издаваше из земля своея. А половци, исмотривше рускый наряд (русское вооружение и расстановку войск.— Д. Л.), по сем самим одолѣша».

Автор протестует против того, что князья пользуются «половецкою», то есть татарскою, помощью, а татары, высмотревши расположение и «наряд» русских, тем удобнее затем на них нападают. Он обращает внимание своих читателей на назидательный смысл истории взаимоотношения русских со степными народами: «...разумѣти же убо нам лѣпо есть на семь и памятовати, хотящим по сих любовь имѣти съ иноплеменники». Когда пограничные отряды Едигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «старци же сего не похвалиша, глаголюще: «Добра ли се будетъ дума юных наших бояръ, иже приведоша половець на помощь?» Резкому осуждению подвергнуты в «Повести» и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы перед приходом войск Едигея летописец вставил цитату из псалма, не оставляющую никаких сомнений в цели ее применения: «Добро есть уповати на господа, нежели уповати на князя».

Но взгляд на степные народы как на главных врагов Руси и доказываемая с этой точки зрения необходимость союза Руси и Литвы против их общего врага — ордынцев не помешали автору «Повести» протестовать против оказываемого тем же литовцам чрезмерного внимания в Москве. Особенному осуждению подвергся в летописи князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою» (т. е. католику), кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В «Повесть» вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским (термин, заимствованный из «Повести временных лет», где он применен к Киеву), города пречистой богоматери, в котором «князи велиции рустии первосѣдание и столъ земля Русскыя приемлють».

Не случайно, что «Повесть о нашествии Едигея», как и вся Московская летопись, опирается в своих общеисторических рассуждениях на «Повесть временных лет». Примером «великого Селивестра Выдобыжского» оправдывает составитель «Повести» смелость своих обличений князя. Автор заверяет «властодержцев», которые прочтут его труд, что он писал эго не ради того, чтобы досадить им, не из зависти к их чести, но по примеру «начального летословца киевского», который

«вся временнобогатства земская не обинуясь показуеть». Автор ссылается на пример первых наших «властодержцев», которые повелевали без гнева описывать все случившееся — доброе и недоброе. Он ссылается на пример того почета, которым окружил Владимир Мономах Сильвестра Выдубицкого, описывавшего события русской истории без прикрас («не украшая пишущего»). Он просит «наших» властодержцев (т. е. в первую очередь московского князя Василия Дмитриевича) последовать примеру древних князей и слушать старцев, «ибо красота граду есть старчество». Таким образом, русская литература времен независимости Руси давала не только образцы для подражания и некий политический идеал, но и моральные уроки, уроки нравственной мудрости.

Несколько обособленно развивалась литература Новгорода. Традиции государственной независимости от Киева, а впоследствии от северо-восточных русских княжеств были в Новгороде чрезвычайно сильны, а умственная жизнь особенно интенсивна, благодаря чему здесь постоянно возникали ереси и расцветал политический сепаратизм.

Обращение к эпохе независимости Руси приобрело в Новгороде особую форму. Если в Москве и окружавших ее княжествах это было по преимуществу обращение к киевской и владимиристо-суздальской старине, то в Новгороде, сохранявшем и оборонявшем свою независимость от северо-восточных княжеств, это обращение к старине направлялось на возрождение только своей, новгородской, старины.

В старых формах восстанавливается Никола-Дворищенский собор (в XIV в.) и церковь Параскевы Пятницы на Торгу (в 1345 г.).

Чем сильнее была опасность присоединения Новгорода к Москве, тем интенсивнее шло возрождение новгородской старины.

Во второй четверти XV века выделяется как энергичный политик, покровитель искусств и письменности архиепископ Евфимий II (годы его архиепископства — 1429—1459). Лихорадочная строительная деятельность Евфимия II свидетельствует о его стремлении утвердить независимость Новгорода, его самостоятельность и могущество. Евфимий II обстраивает новыми зданиями владычный двор новгородского Детинца, строит на Софийской и Торговой сторонах, строит в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыни и т. д. Некоторые здания он воздвигает с помощью западных мастеров, в других возрождает, иногда даже с некоторой утрировкой (церковь Ильи на Славне), старые новгородские формы XII века.

В письменности Евфимий II укрепляет антимосковские и сепаратистские тенденции, возрождает интерес к новгородской старине, воскрешает различные предания и легенды, стремится создать свой, новгородский, круг святых и организовать свои формы их почитания. Евфимий II учреждает обряд поминовения новгородских князей и святителей, торжественно открывает мощи двух новгородских святых: Варлаама Хутынского и архиепископа Иоанна, известного своею борьбой в XII веке с Владимиро-Суздальским, Рязанским и другими княжествами.

При Евфимии II около 1432 года создается обширный владычный летописный свод Софийского временника — летописи, ведшейся при Софийском соборе. Создаются и другие летописные своды, впоследствии присоединенные к московскому летописанию.

В 1436 году произошло открытие мощей архиепископа Иоанна, при котором в 1169 году совершилось «чудесное» спасение Новгорода от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств. Мощи Иоанна были торжественно перенесены в Софийский собор, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и чуда спасения Новгорода от войск суздальцев в 1169 году создается при Евфимии II цикл легенд: как культ новгородской независимости.

Основание культа новгородских святых и возвеличивание новгородского прошлого несколько позднее обставлено было и другой легендой. Под 1439 годом Новгородская летопись сохранила сказание пономаря Аарона. В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверми», то есть теми, которыми перестали пользоваться, вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и перед иконою Корсунской Божьей Матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот, «бысть радостен о таковом явлении», велел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем установил и более регулярное чествование своих предшественников. Это чествование привело к тому, что многие устные легенды о новгородских архиепископах были записаны, получили литературную форму.

Из цикла сказаний, связанных с архиепископом Иоанном, особенный литературный интерес имеет легенда о путешествии Иоанна на бесе в Иерусалим. В повести много бытовых, натуралистических подробностей, сближающих ее по своему типу с рассказами Киево-Печерского патерика, с одной стороны, и с народными сказками — с другой. Повесть как бы соткана из целого ряда ходячих мотивов. Таковы, например, распространенные мотивы о бесе или бесах, которых святой

заставляет на себя работать (например, при построении монастыря), мотив плавания против течения (против течения плывут часто мощи святых, иконы), мотив прибытия святого в монастырь по воде (например, в «Житии Антония Римлянина»), мотив беса, оборачивающегося каким-либо животным, женщиной (обычно при искушениях), мотив самоотворяющихся дверей и самозажигающихся свечей при появлении святого в церкви, мотив путешествия на бесе (в сказках, из которых он перекочевал, между прочим, в «Ночь перед Рождеством» Гоголя) и пр.

Центральная легенда цикла, связанного с архиепископом Иоанном, — легенда о чудесном спасении Новгорода во время его осады суздальцами в 1169 году. Наибольшую популярность эта легенда получила в обработке югославянского ритора Пахомия Серб, которого Евфимий пригласил в Новгород для своих многочисленных литературных начинаний и для создания церковного почитания новых новгородских святых. Пахомий прибыл в Новгород с Афона не ранее 1429-го и не позднее 1438 года. Простые и непосредственные новгородские рассказы о битве суздальцев с новгородцами Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, искусно добиваясь ритмической гладкости слога, необходимого в богослужении, и усилил их назидательный смысл.

Легенда о чуде с суздальцами возникла, очевидно, в XIII—XIV веках и проникла в письменность еще до ее пахомиевской обработки. Скромный рассказ летописи об отражении в 1169 году приступа суздальцев, в котором тема чуда еще отсутствовала, был заменен в Новгородской летописи новым — с особым заголовком: «О знамении святей богородици». Рассказ этот повествует о том, как в Новгороде во время осады его суздальцами оказались лишь «князь Роман молод» да владыка Иоанн и посадник Якун. Для отражения приступа вынесли на забрало острога из церкви Спаса на Ильине улице икону Знамения. Три дня съезжались суздальцы, «попустиша стрелы, акы дождь умножен на острог». Икона оборотилась лицом к городу, спиной к осаждавшим суздальцам, и «паде на них тма на поле, и ослепоша вси». Новгородцы, выйдя из острога против суздальцев, «овых избиша, а другыя изымааше, а прок их zde отбегоша». «И продаваху суздальца по две ногате» (Софийская первая летопись).

Этот краткий рассказ Пахомий Серб дополнил некоторыми, очевидно устными, известиями, а кое в чем развил от себя, воспользовавшись для этого версиями северо-восточных летописей. Летописец-суздалец не знает чуда с иконою Знаме-

ния на забрале у Десятинной церкви, но он повествует зато о том, как в трех новгородских церквях на трех иконах заплакала богородица, предвидя наказание новгородцам от бога за их грехи. Пахомий в своем «Похвальном слове Знамению» изобразил дело так, что плакала вынесенная на забрала богородица, раненная стрелою суздальцев, а владыка Иоанн собрал слезы ее в свой «мафорий» (омофор). В «Слове» Пахомия события схематизированы и лишены всяких конкретизирующих деталей, местного и исторического колорита. Поход на Новгород соединенных сил суздальцев, половчан, рязанцев и прочих изображен как поход одного великого князя, которого Пахомий называет «лютым фараоном». Походу придана порочащая «психологическая» мотивировка в обычной, традиционной манере: «Завистью разгорелся и, собрав вои от различных стран, покушаешься ити на предъреченный град» — Новгород. Перед походом — опять-таки на литературной традиции — Андрею посылается богом предостережение — болезнь. «Но ума ненаказанного никто же исцелити не възможе». Андрей Боголюбский сравнивается с лютым фараоном, а защитник Новгорода архиепископ Иоанн объявляется мужем совершенным в добродетели. Описание осады заменено общей фразой, что осаждавшие «творяще елика обычнаа пленующемь делати и грады разрушати». В трафаретном описании приступа («стрелы якоже дождь» и проч.) Пахомий допускает явные анахронизмы, вводя в дело современную ему, но еще отсутствовавшую в XII веке артиллерию («и громы каменных метании»). Описание самого чуда прерывается лирическим восклицанием: «О чюдного ти посещения, владычице! О неизреченной помощи твоей пречистаа!» Кроме того, введены длинные речи-молитвы Иоанна, ответный «глас свыше» и пр. За фактическою частью изложения в «Слове» следовало традиционное «радование» богоматери, заканчивавшееся отнюдь не традиционным радованием Новгороду: «...радуйся и ты Великий Новъград, сподобивыися такового неизреченного таинства». Заканчивается «Слово» молитвой, традиционные слова которой должны были звучать в обстановке половины XV века особенно остро: молитва заключалась прошением об избавлении «града нашего» «от глада, губительства, труса, и потопа, и нашествия иноплеменникъ». Под «иноплеменниками», очевидно, разумелись суздальцы...

Кроме произведений, посвященных обороне Новгорода в 1169 году, Пахомий в первый свой приезд в Новгород при Евфимии II написал «Службу Варлааму Хутынскому», «Похвальное слово» ему же и «Житие Варлаама». По утверждению Пахомия, он пользовался при составлении «Жития» устными

рассказами монахов Хутынского монастыря, но на самом деле в фактической части «Жития» лишь перефразировал вторую редакцию имевшегося уже перед тем «Жития», в прочей же части прибег к обычному своему «плетению глагол». «Житие Варлаама Хутынского» сохранилось в большом числе списков, что объясняется, однако, не столько литературными достоинствами труда Пахомия, сколько популярностью святого, имя которого символизировало времена могущества Новгорода.

Во второй четверти XV века произошло событие, снова насторожившее русских церковных и государственных деятелей против всего того, что шло на Русь из Византии и западных стран.

В 1439 году во Флоренции состоялся церковный собор, на котором была провозглашена уния восточной и западной христианских церквей. Русская церковь была представлена митрополитом Исидором, признавшим унию. В Москве эта уния не была принята, и Исидора взяли под стражу, после чего он бежал из России. Ферраро-Флорентийский собор усилил то недоверчивое отношение, которое существовало на Руси к католической церкви, и это сыграло отрицательную роль в развитии русской культуры, накрепко отделив ее от Запада идеологическими преградами. Однако само путешествие на собор вызвало три его описания, в которых не уделялось особого внимания церковным вопросам, но зато описывались немецкие и итальянские города, а в одном из рассказов, принадлежащем суздальцу Авраамию, было дано подробное описание театрального представления. Авраамий восхищенно описал, как в одной из флорентийских церквей представлялась мистерия Фео Белькари «Благовещение». Авраамий понял содержание мистерии, привел переводы диалогов, хотя, по-видимому, не знал языка, но особенно подробно остановился на сценических ухищрениях, костюмах, декорациях, танцах, назвав все представление «чюдным видением и хитрым деланием».

Мы наметили только некоторые темы этого значительнейшего периода в развитии русской литературы и остановились на отдельных литературных жанрах, которыми была столь богата эта переломная эпоха в русской культуре. Перелом совершился не только от упадка к расцвету, но и от статичного монументализма предшествующей эпохи к новому динамическому стилю, стилю эмоциональному, стремящемуся представить внутреннюю жизнь человека, — стилю, в котором

все отчетливее звучало личностное начало и индивидуальные особенности авторства.

Эпоху конца XIV—первой половины XV века было бы легко сопоставить с явлениями Возрождения на юге и севере Западной Европы, увидеть в России конца XIV—начала XV века элементы Возрождения. И они действительно были, но резкое отличие заключалось в том, что сопутствующее Возрождению светское начало вовсе не возросло в России. Объяснялось это прежде всего тем, что борьба за национальную независимость имела отчасти религиозные формы: она выливалась в формы борьбы христианства с мусульманством. Поэтому-то, между прочим, в повестях о Куликовской победе доля церковного элемента значительно больше, чем в «Слове о полку Игореве», а во всей русской литературе этого времени заметно усиление мистического элемента. Но главная черта литературы этого времени — национальный подъем, подъем национального самосознания, подъем глубокого интереса к родной истории и ко времени государственной и народной независимости Руси.